

Джордано  
БРУНО

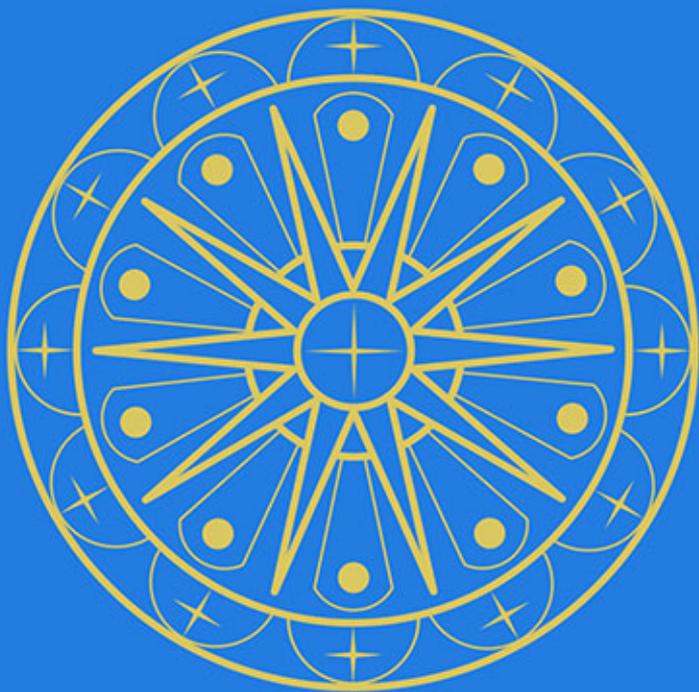
---

---

ИЗБРАННОЕ

---

---



УДК 1(091)  
ББК 87.3  
Б89

**Бруно Д.**

Б89 Избранное. — Самара : Арт-Лайт, 2020. — 556 с.: ил.

Книга приурочена к 420-летию со дня смерти Джордано Бруно и содержит его основные мировоззренческие работы: «Пир на пепле», «О бесконечности, вселенной и мирах» и др. В издание включено «Изгнание Торжествующего Зверя», произведение, ярко отражающее духовный облик знаменитого учёного. В качестве приложений в книге даны «Краткое изложение следственного дела» и текст обвинительного приговора.

Издание будет интересно всем, кого привлекает личность Джордано Бруно и история философии.

ISBN 978-5-6043148-7-6

**УДК 1(091)**  
**ББК 87.3**

© Издательство «АГНИ», 1997

© Издательский дом «Агни», 2000

© ООО «Арт-Лайт», макет, 2020

## ОТ РЕДАКЦИИ

Сегодня, спустя четыре столетия с того дня, когда костер на римской Площади Цветов поглотил Джордано Бруно, мы не перестаем преклоняться перед его мужеством и силой его мысли, предвосхитившей многие открытия современной науки. И всё же значение вклада Джордано Бруно в развитие философии, его роль в духовном самоосознании человечества еще недостаточно оценены, а личность его остается малоизвестной, особенно среди молодых. Личность одного из величайших мыслителей человечества, потрясающая своей силой духа и цельностью, своей преданностью истине.

Именно к тем, кто стремится открыть для себя мир человеческой мысли, и обращена эта книга, приуроченная к памятной дате. Мы хотели, прежде всего, показать читателю Джордано Бруно живым человеком: сложным и цельным, мятущимся, сомневающимся и уверенным в своей правоте, идущим в своей вере до конца, и представить в «Избранном» взгляды великого философа на мироздание и на человеческое общество как часть его. Поэтому основную часть книги составили три диалога: «Пир на пепле» (пер. Я.Г. Емельянова), «О причине, начале и едином» (пер. М.А. Дынника) и «О бесконечности, вселенной и мирах» (пер. А.И. Рубина), которые публикуются по изданию: Джордано Бруно. Диалоги. М.: Госполитиздат, 1949. Кроме того, в книгу вошли небольшие фрагменты из других малоизвестных русскому читателю работ Джордано Бруно — «О безмерном и неисчислимом», «О тройном наименьшем и мере», «Прощальная речь» (произнесенная в Виттенберге 15 сентября 1588 года), а также отдельные высказывания Бруно об обществе и человеке из разных трактатов, никогда на русский язык полностью не переведившихся.

Чтобы обрисовать жизненный путь Джордано Бруно, мы включили в книгу биографический очерк А.Н. Веселовского, написанный им в 1871 году, но остающийся по сей день одним из лучших среди посвященных Ноланцу. И все же личность Джордано Бруно наиболее ярко раскрывается перед читателем в протоколах следствия, продолжавшегося почти восемь лет. Извлечения из «Краткого изложения следственного дела» мы публикуем по изданию: Вопросы истории религии и атеизма. Вып. VI. М., 1958. Этот документ был обнаружен летом 1886 года одним из хранителей Ватиканского архива. Но самый факт его открытия стал строжайшим секретом, и лишь в 1940 году он был вновь найден в личном архиве папы Пия IX. «Краткое изложение...» было составлено по распоряжению кардиналов-инквизиторов в 1597 году на основании подлинного следственного дела, судьба которого до сих пор окончательно не выяснена. Подготавливая документ к публикации, мы исключили некоторые

малозначащие повторы и дополнили его текстом приговора, вынесенного Джордано Бруно 25 января 1600 года.

Книгу завершает хронология жизни гениального Ноланца, составленная в помощь читателю специально для этого издания и наиболее полная из существующих на русском языке.

Открывая книгу, вы видите непривычный и малоизвестный портрет Джордано Бруно. И всё же эта гравюра на меди, изображающая немолодого и внешне не очень красивого человека, — единственный достоверно установленный прижизненный портрет великого Ноланца. Это работа неизвестного немецкого мастера, выполненная между 1586 и 1592 годами, во время пребывания Джордано Бруно в Германии.

При подготовке издания мы с максимальным уважением и бережностью подходили ко всем включенным в него работам. Точное следование тексту первоисточников привело к появлению в некоторых случаях различий в написании отдельных имен, например: Мишель де Кастельно — Микеле ди Кастельново.

Мысль, продолжающая жить в сердцах людей, будоражить их, побуждать разум к новым поискам и устремлениям, — возможен ли лучший памятник тому, кто нес огонь своего знания людям до последних дней. Тому, кто не мог отречься от осознанной им Истины, ибо «истина истине не может противоречить». Тому, для кого красота мира и свобода человеческого духа были величайшими ценностями. Изданием этой книги нам хотелось отдать дань памяти Джордано Бруно и выразить свое уважение и преклонение перед величием бессмертного Ноланца.



Карта странствий Джордано Бруно

А.Н. ВЕСЕЛОВСКИЙ

## ДЖОРДАНО БРУНО

Биографический очерк

Попытки [Джордано Бруно] просветить современников и вывести их из заблуждений кончились, как часто кончались подобные попытки, — костром. Но иначе и не могло быть в те времена великой общественной переработки, которую мы привыкли называть эпохой Возрождения. Когда старые общественные идеалы, по-видимому, стоят еще крепко, а новые едва намечены в сознании масс, как нечто готовящееся, возможное, без особой цены и значения, — только немногие выдающиеся личности переживают их сознательно, открывают их жизненный смысл и обновляющую силу. Такие личности обыкновенно являются одиноко: за ними нейдет толпа последователей, они не добиваются признания; чем уединеннее их подвиг, тем исключительнее их вера в стоимость новых идей, они предаются им без контроля и общественной поддержки, со страстью легендарного анахорета, увлеченного в лес пением райской птички. Чем далее они сами от общества, тем более крайне вырабатываются их одинокие убеждения, тем смелее жизненные выводы, которые они делают из них, в смысле социального и религиозного обновления. Тогда между ними и обществом происходит разрыв. Нельзя сказать, чтоб они явились слишком рано: они только слишком рано высказались, хотели сделать обязательным то, что еще смутно покоилось в сознании масс, как невыясненное, далекое от всякого житейского приложения. На всем этом они настаивали и слишком быстро переходили к заключениям, иногда фантастическим, редко оправдываемым, исходя из посылок, которые, в сущности, всякий готов был им уступить, но которым предстояло дозреть до осязательных выводов целым рядом поколений. Они — голос зовущего ночью, когда нерадивые девы спят и не зажжены еще светильники. Их сторожевой оклик нарушает обычный покой и слишком рано зовет проснуться. Оттого их удаляют. Осуждая их на казнь, толпа не дает себе отчета, что она обрекает в зародыше свою собственную мысль, свое будущее, на дорогу которого они первые вступили, приняв едва брезжащие лучи за близость рассвета. Есть что-то роковое в этом самоубийстве общественной мысли.

В истории знания имя [Джордано Бруно] не особенно подчеркнуто. Поэт и пантеист по природе, он более интересовался общими построениями, широкими идеями космоса и мироздания. С высоты его мысли, в этой бесконечной жизни земля должна была представляться ему ничтожной, ее история — эфемерною и страшно мелочною, эта блестящая мишура, которую люди называют цивилизацией. Зато какой простор для прогресса

и развития в этих бесчисленных центрах жизни, наполняющих вселенную! Поле будущего не ограничено одной землею — ему нет предела; и Бруно верит в эту бесконечность прогресса, совершенствования, как верит в свое учение. «Этой философией мой дух расширяется и возвышается ум», — говорит он («II Candelajo»<sup>\*</sup>). Эта вера — краеугольный камень его учения.

Таков Бруно-мыслитель — но здесь начинается человек. С этой верой он проходит всю жизнь, он счастлив ею и благодарит бога, сподобившего его так неутомимо стремиться к свету. Эта вера поддерживает его среди постоянных лишений, искупая его минутные слабости; вместе с ним она всходит на костёр, когда бессмысленная толпа глазела на него, не зная, что творит, и некому было напутствовать его в безграничность космоса. «Ступай, мой друг, под сень той интеллектуальной сферы, которой средоточие всюду и нигде нет окружности, которую мы называем богом».

Джордано Бруно родился в 1548 году в Ноле, от бедных родителей. Бедность провожает его потом всю жизнь, он не устает бороться с ней, вечно ищет работы в типографиях, в частных уроках. Ему было 38 лет от роду, когда написано было его письмо к совету Виттенбергского университета, где он, с глубоким чувством, благодарит за то, что ему, бедному изгнаннику, позволили преподавать приватно, чтобы удалить гнетущую нищету. Была только одна светлая полоса в его жизни, когда он мог забыть на время и работать свободно: это было время его двухлетнего пребывания в Англии. Зато он и произвел там лучшее, что вышло из-под его пера; зато каким хвалебным гимном звучат его слова к Мишель-де-Кастельно, французскому посланнику в Лондоне, в доме которого он жил: «Ты обратил для меня Англию в Италию, Лондон в Нолу, в мой блуждающий кров поселил пенатов». Нола, Италия, Неаполь — старые воспоминания не оставляют его ни на минуту; как ни отрывают его от них обстоятельства, он всегда возвращается к ним с гордым самосознанием итальянца. «Италия, Неаполь, Нола! Страна, благословенная небом, глава и десница земного шара, правительница и победительница других поколений, — ты всегда представлялась мне матерью и наставницей добродетелей, наук и всякого гуманного развития».

Нола, городок Счастливой Кампаньи, лежит в небольшом расстоянии между Неаполем и Казертой, в долине, которую окаймляют высоты Сан-Эльмо, Сан-Паоло и Казамарчьяно. К югу от нее виден Везувий, на север горы Авеллы и Роккарайнола, на востоке плодоносные холмы Чикала, покрытые виноградником.

У подножия этих холмов стоял домик, где родился наш Джордано. Впечатления родного пейзажа не покидают его потом никогда: всюду он носит с собой образ своей милой Нолы, он любит называть себя ноланцем, свою философию — ноланскою, выводит в своих философских разговорах действующими лицами своих знакомых из Нолы. Если бы

<sup>\*</sup> «II Candelajo» («Подсвечник») — комедия Джордано Бруно. — *Примеч. ред.*

не заглавные листки того или другого из его изданий, легко бы поверить, что все они писаны и печатались в Ноле: так много в них местных указаний, как будто обличающих близость почвы и непосредственное впечатление. Мы как будто перед собою видим силуэт Везувия и Монте-Чикала, ощущаем приятную терпкость местного испанского вина и читаем вместе с Бруно забавную вывеску аптекаря: «Non qualitas, sed quantitas» — «Не качеством, а количеством!»

Бруно не только ноланец, он прежде всего истый сын итальянского юга. Документы венецианского процесса изображают его среднего роста, с бородой каштанового цвета. Если он сам себя обрисовал в антипрологе к своей комедии «Il Candelajo», то мы почти можем дописать себе его физиономию: глаза задумчивые, потерянные, как будто ушедшие внутрь, в созерцание мук ада; смех сквозь слезы (*in tristitia hilaris, in hilaritate tristis*); отсутствие тела; характер раздражительный, полный упрямства и эксцентрических выходов. Портрет относится к более позднему времени, и краски наложены преднамеренно ярко: во всяком случае перед нами совершенно южная натура, сотканная из одних нервов и беспокойства, способная увлечься в надзвездную область в поисках отвлеченной мысли, способная уверовать в нее со страстностью юноши, чтобы вслед за тем неожиданно окунуться в житейскую грязь и разразиться гомерическим хохотом над какой-нибудь шутовской проделкой. Этой подвижности мысли отвечает капризное движение речи: она то звучит где-то в небе полным аккордом органа, победой и провозвещением, то врывается в комнату прямо с площади, вторя нескромным кривляньям паяца. То она не угонится за мыслью и тогда догоняет ее скачками, дробясь на тысячи брызг, разливаясь морем слов: слово за словом, эпитет за эпитетом, так что вы устаете от общего движения.

«Кому поднесу я мой Candelajo?» — говорит он в посвящении своей комедии. «Кому, о великий рок, хочешь ты, чтоб посвятил я моего паранимфа, моего доброго корифея? Кому пошлю я, что в самые жаркие дни каникул пролили на меня дождем неподвижные звезды, что просеяли на меня огоньки, бегущие по небу, чем выстрелило мне в голову старшее созвездие зодиака, что моему внутреннему слуху нашептали семь блуждающих светил? К кому обратиться мне?.. К его святейшеству? Нет. К его императорскому величеству? Тоже нет. К его светлости, его высочеству? Нет и нет!» Он посвящает, наконец, свой труд Фате-моргане, шаловливой фее, которая на берегах Мессинского пролива пугает жителей причудливыми миражами. Это как нельзя более кстати, и читателям Бруно не раз придется вспомнить Рабле, этого другого сына романского юга: та же гривуазность и рядом с беззастенчивой площадной шуткой такое определение божества, что Монтень и Паскаль взяли бы его, не обинуясь, для себя.

Об отрочестве Бруно мы почти ничего не знаем. Оно было неприглядное. Таким, по крайней мере, он поминает его позже. Ему было 10 или 11 лет от роду, когда его отдали из Нолы в Неаполь учиться диалектике,

логике и всем наукам, какие входили тогда в круг школьного обучения. Он слушал также на стороне философские чтения; к сожалению, мы не знаем, в чем они состояли и как отразились на уме молодого Бруно. Что могло побудить пятнадцатилетнего мальчика вступить в монастырь? Желание ли продолжать занятия в среде, которая в это время казалась всего более к тому удобной; или внезапный прилив религиозного чувства повлек его к шагу, к которому по своей живой, впечатлительной природе он всего менее был способен?

Монастырь Сан Доменико Маджори, куда Бруно вступил послушником, принадлежит к числу замечательных церковных построек Неаполя. Среди палаццо и шумной жизни города он хранил в себе следы сурового VIII века. Под его молчаливыми сводами когда-то раздавался голос Фомы Аквинского, который читал здесь богословие. Еще всё полно его памяти: вот келья, где он задумал самую грандиозную систему религиозной философии, какую видели средние века; распятие, с которого, по легенде, Спаситель сошел для беседы с «ангелическим» доктором. Внутри монастыря сады, полные зелени и аромата; дворы, обведенные крытыми ходами на арках. Всё располагает к покою и религиозной созерцательности. Под этими ходами Бруно встречался не раз с другим, таким же молодым послушником, как и он сам, погруженным в чтение книги. Книга эта была аскетическая и называлась «Семь блаженств богородицы». Бруно посоветовал ему бросить ее: гораздо полезнее, говорил он, почитать жития святых отцов.

Это было непристойно и возбудило толки. Вспомнили, как в один прекрасный день тот же Бруно роздал образки святых, оставив для себя простое распятие: могли вспомнить и о многом другом. Такого рода начало обещало худой конец. У наставника послушников уже была в руках черновая обвинительного акта, из которого мог выйти для Бруно целый религиозный процесс. Но монах передумал, может быть, взяв в расчет молодые лета обвиненного, — и процесса не вышло.

Бруно был тогда восемнадцатый год.

Перенесемся через десять лет. Он уже четыре года как посвящен в священники, служил первую обедню в монастыре Сан Бартоломмео в Читта-ди-Кампанья, странствовал по обителям неаполитанской области и теперь снова в Неаполе — накануне нового процесса. Десять лет прошли даром: капризные выходки молодого причетника грозят разрастись до чего-то похожего на целую систему протеста. В комедии «Il Candelajo», которую он позже напечатает в Париже и написал теперь, в первые годы священства, он не только смеется над ослиным хвостом, которому генуэзцы поклоняются как святыне, над водой св. Петра Мартира, семенем св. Иоанна, манной св. Андрея и т. п. — все его мирозерцание какое-то отрицательное, напоминающее «Похвалу Глупости» Эразма. Преславные плоды этой глупости (*gloriosi frutti di pazzia*) — вот что думает он показать в своей комедии, где осмеяны педант-любовник, педантизм алхимика

и ученый педантизм. Типы не новые в итальянской комедии XVI века, но во всяком случае ново и непривычно в устах молодого монаха это представление жизни с точки зрения педантизма, глупости, ханжества и лицемерия, невежества и тупой сносливости. В «Ноевом ковчеге», другом поэтическом капризе Бруно, относящемся к тому же времени, но, к сожалению, потерянном, это представление должно было достигать высшей степени юмора. «Ноев ковчег» — это человеческое общество: звери изображают людей, и всем правит осел, которому сами боги вручили кормило спасительного судна. «О святая глупость, святое невежество (O sant'asinitá, sant'ignoranza)! О достопочтенная тупость и благочестивая набожность! Вы делаете души людей столь добродетельными, что перед вами ничто ум и всякое знание».

От критического отношения к образкам и благочестивым книжкам до такого грустного взгляда на жизнь вообще — расстояние огромное. Должна была пройти целая история внутреннего развития и борьбы; сомнения, томившие молодого послушника, выработались в душе монаха в целую систему отрицаний. И в самом деле: такой фактический протест, с каким он теперь выступает, не мог обойтись без теоретического протеста, который служил ему подкладкой, без глубокого поворота в мыслях и в нравственной оценке вещей. Став монахом, Бруно перестал быть христианином. Он так сам рассказывает о себе позже, в ответах венецианским инквизиторам. С семнадцати лет, то есть со времени его первого процесса, как мы видели, несостоявшегося, он начал сомневаться в основных догматах церкви, в учении о троичности и воплощении; по крайней мере, он понимал их не по-христиански, своеобразно. Так ипостась сына он толковал как разум бога-отца, дух святой был для него любовью, душою вселенной, источником жизни в ней разлитой; она так же бессмертна, как материя; от нее исходит жизнь и одушевление всему, что только обладает жизнью и одарено душою. Такое философское толкование догматов сразу выводило Бруно не только за пределы христианства, но и вообще всякой исторической, положительной религии: ему казалось, что все они только убивают рассудочную деятельность, не принося человечеству желанного покоя, не исправляя нравы. Полный восторженной надежды на будущее, он видел впереди возможность какой-то философской религии, которая сменит все положительные культы, изгонит в преисподнюю обветшалых богов, избавляя нас от страха вечных мучений. Отсюда понятно его негодование на религиозное воспитание его времени: оно наполняло детские умы небылицами, отчего мог только задержаться религиозный прогресс, к которому он так страстно стремился.

Так представлял себе сам Бруно, много лет спустя, свой первый разрыв с традицией. Нет сомнения, что здесь примешалось, бессознательно для него самого, множество позднейших черт: нет ничего труднее, как восстановить в памяти точную историю своего собственного развития. В сущности, разрыв, о котором он поминает лет двадцать пять спустя, может

быть, не имел той теоретической прозрачности, с какой он представляется нам из его слов, как должен был представиться ему самому, когда он принялся подводить итоги своей деятельности. Несомненно во всяком случае, что основание было положено, и тогда же сделаны были все посылки для дальнейших построений; надо было выработаться прочному критическому взгляду на значение исторических религий вообще и христианства в особенности, чтобы сделать возможным то отношение к арианству, которое повело к его вторичному процессу. Однажды он разговаривал с Монтальчино, монахом его же ордена, родом из Ломбардии. Дело шло об арианах, которых Монтальчино называл неучами, потому что свое учение они не умеют выразить условным языком школы. Бруно ответил ему на это, что ариане, если и не говорят языком схоластики, всё же выражают свою доктрину с большой ясностью — и он в нескольких словах формулировал сущность их учения. За эту косвенную защиту их догмата он был обвинен, и на этот раз процесс обещал быть серьезным: обвинителем должен был выступить не начальник послушников, а сам отец-провинциал. Бруно был уже священником — тем строже будет суд: его подозревают в ереси, в отрицании главных догматов христианской религии; собираются сведения о его прошлом, о его речах и мнениях, о процессе, который он чуть было не навлек на себя еще будучи послушником. Гроза собиралась не на шутку. Бруно решился скрыться из Неаполя, чтобы избежать тюрьмы и, может быть, чего-нибудь худшего. Он бежал в Рим [1576 год].

Бруно в первый раз увидел тогда вечный город. На улицах был праздник: праздновалась свадьба Джьякомо Буонкампаньи из семейства тогдашнего папы Григория XIII с графиней Ди Сантафиоре. Бруно постучался у ворот монастыря делла Минерва, принадлежавшего его ордену, где и был принят. Не прошло нескольких дней, как его неаполитанские друзья извещали его письменно, что следственное дело, наряженное над ним, препровождено из Неаполя в Рим, что после него найдены запрещенные книги, которые он забросил ввиду поднимавшегося против него обвинения. Это были творения св. Иеронима с комментариями Эразма и некоторые труды Иоанна Златоуста в переводе того же Эразма. Бруно пользовался ими тайком, потому что комментарии издателя претили католическому пуризму; он не только постарался их вымарать, но и припрятать самые книги. Но теперь они найдены, обвинение следовало за ним по пятам, процесс может начаться завтра же. Бруно решился бежать еще раз: улучив минуту, он выбрался из Рима один и тайком, сбросив рясю и приняв прежнее имя Филиппа, пошел куда глаза глядят. Так началось его долгое одинокое странствование по свету.

Как выработалась в нем та система убеждений, которая оставляла далеко за собой и протест комедии, поднимавшийся против мелочей жизни, и тот внешний религиозный протест, характеризующий реформационное движение и не покидавший вопросов догмата и внешних исторических отношений? Как объяснить себе ту высоту развития, с которой

всё это представлялось лишь преходящими формами жизни, ввиду какой-то необъятной возможности будущего? Монастырская школа и монастырские библиотеки не в состоянии объяснить это развитие; материал, который они давали Бруно, был беден и его выбор исключителен: отрывочные сведения из разных областей знания, остановившегося на старой схеме семи свободных искусств и не обновлявшегося веками; Аристотель и схоластики, с которыми Бруно тотчас же покончил; богословская космогония Фомы Аквинского, которой Бруно противопоставил свое собственное поэтическое учение о космосе. В построении этого космоса участвовало всё, что ему удавалось читать урывками под бдительным монашеским оком, и к изучению чего он мог обратиться свободно лишь по выходе из монастыря. Тут было большое разнообразие, но вместе с тем и понятное отсутствие системы: вместе с комментариями Эразма — Лютер, Меланхтон и Кальвин; Платон и александрийские неоплатоники; отцы церкви и философы итальянского Возрождения: Фичино, Пико делла Мирандола, Кардан и Телезий. Сочинения кардинала Кузанского имели на него значительное влияние: он нашел в них зародыши того рационализма, в котором он сам пошел так далеко; они приготовили его к принятию нового в то время астрономического учения, за которым осталось имя Коперника. Последнему он отдается всецело, после того как долгое время колебался относительно его состоятельности: оно не только открыло ему целый новый мир, но и заставило его усомниться в научности старой системы мироздания, которой опыт перечил, но с которой богословы еще продолжали носиться, опираясь на тексты библии. Он должен был не только освободить науку от служебного отношения к богословию, в каком она до тех пор находилась, но, пойдя далее, подвергнуть критике богословскую теорию, закрывавшуюся от науки, если ее результаты не укладывались в установленные рамки. Таково было отрицательное влияние Коперниковой системы на мирозерцание Бруно, как оно отразилось на его трудах. Положительное влияние совсем другого рода. Натура Бруно была поэтическая; не то чтобы он писал стихи; он писал их, но мало, он плохой стилист и вообще не обращает внимания на форму. Ему даже противны были мелкие идеалы, которыми пробаивалась современная ему школа петраркистов: «в апреле месяце влюбился Петрарка, в апреле же ослы обращаются к созерцанию» («Il Candelajo»). Его любимая женщина — София, т. е. мудрость, идеальный образ его собственной философии; он как будто возвращается к строгим привязанностям старого Данте, когда Беатриче-женщина стала для него теологией. Одним словом, он поэт-мыслитель; он поэтически мыслит. «И меня любили нимфы» (*Peramarunt me Nymphae*), — говорит он о себе в одном месте, и, действительно, едва ли кто имел на это большее право\*.

---

\* «Philosophi sunt quodam-modo pictores atque poetae, — говорит он при другом случае, — non est philosophus, nisi fingit et pingit»; т. е. философы — живописцы и поэты, и не философ тот, кто не творит и не изображает.

Такому уму система Коперника представлялась целым поэтическим откровением. Открывалась масса новых фактов, они манили к новым выводам, и выводы становились в свою очередь фактами, вызывая к дальнейшим построениям. Ничто не проверялось, аналитическому исследованию почти не было места; выводы и факты укладывались как-то сразу в одну стройную систему, полную поэзии и произвола, назначенную заменить старое, богословское созерцание о мире и его начале. Множество миров наполняло необъятность вселенной; среди них роль Земли, когда-то стоявшей в центре создания, сводилась к микроскопическим размерам. Вместе с тем падала и первенствующая роль человека; его падение и искупление, о котором учило христианство и другие религии, переставали быть мировым фактом; его история, его вековое развитие — что это, как не атом общей жизни, который так долго делало центром всего людское самолюбие и исключительность богослова? С этой точки зрения не только стусевывалось значение христианства, но и предполагался молчаливый разрыв с господствующим мирозозерцанием, вытекавшим преимущественно из христианских основ. Такова сущность того поэтического космоса, которого Бруно был демиургом; это вместе с тем и самая существенная часть его философии.

На эту поэтическую сторону его характера, на эту способность быстро переноситься от фактов к самым фантастическим построениям целого, должно было повлиять его знакомство с учением Платона и неоплатоников, с видениями аббата Джоаккино, в особенности с Раймундом Луллием. Ничем другим нельзя объяснить, почему он так страстно к нему привержен. Он, должно быть, довольно рано познакомился с его учением, может быть, в монастыре, и оно впервые вывело его из заключенности схоластической доктрины на мистический простор мысли, который мог показаться ему освобождением. Оттого он не покидает его и впоследствии, когда его собственное развитие уже завело его далеко за пределы мистического протеста; он как будто дорожит памятью о том, кто первый помог ему выйти на этот путь, и, связывая свое настоящее с прошедшим, думает осмыслить учение католического монаха всем богатством своего позднейшего мирозозерцания. Собственно говоря, в учениях Луллия он не нашел ничего такого, что бы не встречалось ему в других мыслителях того же рода более ясным, определеннее формулированным; но в нравственной физиономии Луллия он узнавал самого себя. Это было поэтическое провидение; оно объяснит нам иначе непонятную симпатию. Луллий такой же поэт и утопист, как и Бруно; если бы Бруно родился тремя столетиями ранее, он был бы Луллием; еще ранее — христианским мучеником, а позже — чем-нибудь вроде Фурье.

Раймунд Луллий родился в 1235 году на острове Майорке. Его юность протекла шумно: он наслаждался жизнью и ничему не учился. На тридцать втором году с ним произошла внезапная перемена: он раздает свое имение нищим и, распродавшись с женою, удаляется на

пустынную высоту Ранды. Здесь он проводит девять лет в шалаше, построенном его же руками, одетый во власяницу и погруженный в молитву и созерцание. Он готовился к подвижничеству и вышел преображенный. Отсюда начинается его долгая скитальческая жизнь, в которой он поспорит с Бруно: он посещает не только европейские страны, но Африку и Азию, проповедуя одну и ту же идею, служению которой он посвятил себя. Разумеется, это идея его века: как Бруно провозгласит пришествие новой философии, которая должна прийти на смену старому религиозному строю, так у Луллия одна неотвязная мысль: проповедь христианства язычникам и религиозное нашествие Запада на Восток в целях пропаганды. Для этого необходимо, чтобы соединить в одно все военные ордена христианской Европы, чтобы из школ была изгнана ересь авероизма и для восточной миссии приготовлены деятели, закаленные в богословских боях, искусные в языках Востока. С этой целью сам он без всякой помощи научился латинскому и греческому языку. Он считал себя избранным божьим сосудом, пропаганду — своим призванием; он даже кончает мученической смертью.

У него была другая любимая идея, которую он представлял себе в услужении христианской и потому проповедовал, хотя в сущности отношения между ними могут быть поняты обратно. Так, по крайней мере, поняла их церковь, и этого было достаточно, чтобы осудить временно самое учение. Я говорю о новой науке, о которой мечтал Луллий, о его диалектике, которую он эмфатически называл Великим Искусством — *Ars Magna*. Он говорил, что с ее помощью можно в самое короткое время овладеть всем известным и научиться говорить хорошо и без всякого приготовления о каком бы то ни было предмете, извлекая из одного положения бесчисленное множество других по тому принципу, что всё заключается в одном и одно во всё. Это, как известно, один из любимых афоризмов Бруно. В сравнении с этой наукой все другие ничто, она назначена небом устранить все предшествовавшие, между тем как не предвиделось опасности, чтобы ее устранила какая-нибудь другая. Так думали поклонники Луллия, открыто утверждая, что богословы ничего не понимали в богословии, что доктрина Луллия возвышеннее и лучше учения блаженного Августина, что она — дар божества, и приобретает не наукой, а откровением; что она универсальна, и ей подчинены даже таинства христианской религии. Таким образом, христианство оказалось в служебном отношении к Великому Искусству, которое назначено содействовать его проповеди. На это непозволительное самозабвение философской мысли указали впоследствии противники Луллия. Они указали и на многие другие еретические положения, между прочим на то, что вера необходима для людей необразованных, не обладающих высоким умом и потому не могущих познать рассудком, тогда как на человека развитого более действуют доводы ума, чем уверения религии. У Бруно эта догадка развилась, мы видели, в противопо-

ложение всех исторических религий вообще — той философской религии, которую сулило ему будущее.

Таковы точки соприкосновения между Луллием и Бруно, более сходство нравственных образов и фантастических стремлений, чем сходство учений, между которыми, чувствуется, прошли целые века. Бруно оставил нам отличную характеристику Луллия: он называл его «грубым анахоретом, полным божественного духа». Мы понимаем, что в этом определении притягивало его к себе и где он начинал чувствовать себя далеко ушедшим вперед от средневекового строя мысли, так типично выразившегося в «грубом анахорете».

И при всём том нам всё же остается в Бруно загадкой: каким образом, при всей симпатии к оригинальному образу каталонского философа, к туманной широте его взглядов, мог он всю жизнь ошибаться насчет состоятельности того условного грубого механизма, который зовется Великим Искусством? С ним он не устает возиться, он постоянно говорит о нем, вмняя себе в особую заслугу, что он вывел его снова из долгого забвения, упростил его и усовершенствовал. Он пишет и печатает о нем; в Париже и Цюрихе, во Франкфурте и Венеции, он толкует его с кафедры, делает его предметом объяснений в частных беседах. Правда, он сплошь да рядом пользуется его формулами, чтобы провести свое собственное философское учение, так что может казаться, что делает он это с понятным расчетом, как и теперь приобретает привычка писать так, чтобы публика читала между строками. Ведь философия Бруно была делом новым, неслыханным с официальной кафедры, она могла поразить смелостью выводов и беззастенчивым устранением укоренившихся взглядов; между тем к диалектике Луллия успели привыкнуть в школах, и она деятельно возделывалась, несмотря на временное запрещение, наложенное на нее церковью. К тому же Бруно мог наивно уверять себя, что его собственная система не что иное, как дальнейшая, более полная выработка луллиевых положений. Но вообще мы ничего не поймем в людях Возрождения, если не сделаем над собой усилия мысли и не перенесемся к тем особым условиям развития, в какие они были поставлены. Представьте себе массу, живущую по Домострою, верующую по преданию, думающую по рутине; среди нее начала нового мирозерцания, более рационального отношения к религии, принципы новой науки, свободы вырабатываются в немногих личностях, в которых сознательное отношение к наличному материалу знания, к его новым реальным приобретениям, и недовольство существующим строем мысли вызвало потребность новых построений. Эти люди стоят особняком, работают на далеких расстояниях; им не столько недостает взаимного контроля, сколько точной науки, на результаты которой они могли бы опереться в своем стремлении — привести свое мирозерцание к единству какой-нибудь органической системы. Мы понимаем естественность этого стремления, и почему при данных условиях оно могло быть удовлетворено

лишь субъективным, поэтическим путем, тайну которого эти люди унесли с собой в могилу. Они успевали мирить лулливскую диалектику с самыми крайними порывами философской мысли, критику социальных и церковных порядков с уважением к преданию, рационализм — с верой в астрологические бредни. Каким образом создавалось из этого нечто целое, мы не знаем, не знали иногда и современники, и сами они едва ли были в силах доказать его; но они чувствовали это целое, потому что они одни ощущали потребность противопоставить отходящему мирозерцанию что-нибудь равносильное ему, не ряды сомнений и протестов, а такую же систему, которая объяснила бы всю совокупность жизни, чего старые системы не могли более объяснить. Чем более личного элемента в этих новых системах, чем капризнее они обходятся с фактами, чем более в них непонятного нам самообольщения, и чем отрицательнее относится к ним толпа — тем страстнее эти люди им отданы, тем громче высказывается в них чувство самосознания. В письме к вице-канцлеру Оксфордского университета Бруно называет себя доктором более совершенного богословия, профессором более невинной мудрости, чем какая преподается обыкновенно. Его знают везде, не знают только варвары. Он будит спящих, поражает кичливое и упрямое невежество; он гражданин и житель всего мира, пред которым равен британец и итальянец, мужчина и женщина, епископ и князь, монах и лаик [мирянин]. Он сын отца-неба и матери-земли. В другом месте он не прочь причислить себя к тем «меркурьяльным» людям, тем божественным Меркуриям, которых Провидение время от времени посылает на помощь людям. Сам он «ничего не предпринимает вульгарного, ничего такого, что бы сделано было другими». Это как будто напоминает зазывание шарлатана: таким по крайней мере оно может показаться иной раз, но это торжествующий крик людей, успевших выбраться на вершину и увидеть с нее обетованную землю истины, когда внизу все забыло об обещании.

В Генуе карьера Бруно только что начиналась, и еще предстояло выясниться многим чертам его характера, его учения, из которых мы попытались вперед собрать его нравственный образ. Но таковы условия биографии и отрывочность биографического материала, что мы редко в состоянии уследить в истории внешних фактов историю внутреннего развития.

В Генуе Бруно оставался недолго. Ему там не было работы: ни больших типографий, ни значительной торговли книгами, ни знаменитой школы. К тому же в городе боролись партии и снова показалась чума, обошедшая в прошлом году всю Италию. Оттого на третий день он выехал морем в Ноли, живописный городок в Генуэзском заливе, неподалеку от Генуи. Здесь магистрат и епископ города поручили ему обучение грамоте мальчиков за небольшую плату; предложение было плохое, но он его принял, побуждаемый нуждою. Рядом с этим он вздумал частным образом толковать нескольким туземным аристократам основания космографии, или то, что называлось тогда Сферой и обнимало самые разноо-

бразные вопросы, например, имеет ли небо сферический вид или нет, какова природа его вращения, представляют ли земля и вода фигуру совершенного шара, и какова идея мира в божественном разуме. В преподавании Бруно все эти излюбленные положения школы должны были преобразиться под влиянием Коперниковой доктрины, которой он посвятит впоследствии один из самых поэтических своих трудов.

Но Бруно в Ноли не сиделось. Или не по нему были школьные занятия, и он искал более производительной работы, или он отдался своей страсти — видеть все новые лица, другие местности — только через пять месяцев мы уже встречаем его в Савоне; спустя две недели в Турине; отсюда он спускается по течению реки По до Венеции; затем он в Падуе, Брешии, Бергамо, в Милане, где в первый раз знакомится с Филиппом Сиднеем, бывшим в тот год посланником королевы Елизаветы при императоре. Отсюда он снова возвращается в Турин. Он блуждает как-то лихорадочно, как будто ищет установиться и не находит деятельности. В Венеции школы закрыты и типографии едва работают по случаю чумы, унесшей половину населения. Бруно нанял комнату у одного служившего в арсенале и, чтобы заработать сколько-нибудь денег, написал книгу «*Dei Segni dei tempi*» («О знамениях времени»). Она была напечатана анонимно или, быть может, с именем Филиппа Бруно; я говорю: быть может, потому, что до сих пор не нашлось ни одного экземпляра книги. Между тем в показаниях перед венецианской инквизицией Бруно очень ясно говорит об ее издании; он сообщает также, что, написав ее и прежде чем сдать в печать, он показал рукопись доминиканцу, отцу Ремигию из Флоренции, и что тот дал одобрительный отзыв. Книга, стало быть, была написана в католическом духе, если католический монах мог ее одобрить. Стало быть, Бруно еще не порешил со своим прошлым и колеблется. Или он не отдавал себе отчета сущности разрыва, который уже произошел в его сознании, и не знает, что он должен сказаться столь же резко и в практических отношениях жизни, под страхом быть непонятым. На эту высоконаивную черту в характере Бруно я укажу еще не раз; она обусловлена всею сущностью этого философского мирозерцания.

В Падуе он встретился с несколькими знакомыми монахами. Они начали убеждать его снова облечь монашескую одежду, хотя бы он и не имел намерения опять вступить в монастырь. Это было в порядке вещей в Италии XVI века, когда более 40000 монахов жило вне монастырских стен. Позднее, в Бергамо, Бруно последовал их совету.

В конце 1576 года, месяцев восемь спустя после бегства из Рима, Бруно в первый раз перешел границу Италии. Он направлялся в Женеву. Знал ли он в эту минуту, какое долгое изгнание его ожидает, и в каких грустных обстоятельствах ему придется увидеть снова родимый край, к которому он относился с такой горячей любовью?

В Женеву он прибыл один, одетый доминиканцем, и остановился в гостинице. Как только узнали в городе о прибытии итальянского монаха,

к нему явился один из вождей итальянских протестантов, Галлеаццо Караччоло, маркиз Вико. Между ними завязался интересный разговор. Маркиз стал его спрашивать о причинах, побудивших его оставить Италию, и не имеет ли он намерения принять вероисповедание Кальвина. Бруно отвечал ему на первую половину вопроса; что до второй, то у него нет намерения, говорил он, принять религию города, потому что не знает, какова она; если он сюда прибыл, то не для чего-либо другого, как для того, чтобы жить на свободе и в безопасности. Такого рода ответ не мог удовлетворить его собеседника; они очевидно не понимали друг друга.

Женева в то время была полна итальянскими протестантами. Движение северной Реформации захватило и Италию, куда проникало урывками и контрабандой: луккские купцы, торговавшие в Лионе, посылали оттуда своим соотечественникам книги французских и немецких реформаторов, запрятав их в тюки с товарами. Новое учение распространялось в небольших кружках в городах, как, например, в Лукке, Ферраре, Риме и Неаполе; при дворах оно было делом моды. Когда начали образовываться небольшие паствы и некоторые духовные сановники, из недовольных или энтузиастов, начали преклонять слух к увещаниям протестантизма, тогда предержавшие власти, вначале довольно равнодушные, ощутили возможность скандала — и начались гонения. Многие из итальянских сектаторов попали на костер, другие принуждены были к торжественному отречению; иные предпочли бегство за границу, где, отрешенные от неблагоприятных условий среды, они тем безогляднее отдались новому религиозному движению. В самой Италии это движение было изолированным фактом, им увлеклись немногие личности; в общество, в широком смысле этого слова, оно не проникло, тем менее в народ — потому что самая природа итальянского мирозерцания шла вразрез с тем закалом мысли, который обусловил северную реформу. Религиозный протест севера не только оставался всецело в пределах христианства, но он никогда и не покидал вопросов, поставленных его историческим развитием: не только вопросов догмата, но и вопросов иерархии. Он только думал возвратить то и другое к более простым формам их первобытного установления; его рационализм не выходит из этого заколдованного круга; если он действует паллиативно, то поступает как антикварий, для которого всякое развитие есть упадок.

Другого характера итальянский протест. Чаще всего он не затрагивает вовсе вопросов догмата и культа, обходя существенное и беззастенчиво глумясь над уродствами приложения, над скромною жизнью духовенства, проповедующего чистую нравственность, над кровавою проповедью веры, проповедующей милосердие; одним словом, над противоположностью системы, перед которой все благоговеют и в которую никто не верит, и жизни, которая принимает систему, чтобы жить себе поодаль, ее не спросясь. Система сама по себе, и жизнь также, это не логично, но положение существует, оно узаконено давностью, и вся задача в том,

чтобы сделать его удобнее. Таково общее выражение итальянского религиозного протеста: религиозный индифферентизм, так ярко выразившийся в упитанных прелато-эпикурейцах, глазевших на комедии Теренция, называвших Христа — Юпитером *Optimus Maximus* (Наилучшим Величайшим) и воспрещавших себе чтение латинского молитвенника из боязни испортить свой цецероновский слог. Присоедините к этому ленивому индифферентизму более логики, более теории, дайте ему критическую подкладку — и религиозный протест итальянца сразу перейдет не только за границы догмата, но и христианства, на такую логическую высоту, с которой и христианство и все религиозные системы должны были представиться индифферентными, переходящими формами. На этой точке зрения стоило только явиться философскому уму, чтобы теоретическое отрицание очутилось положением, требованием совершенно нового религиозного строя, новой философской догмой. На этой точке зрения стояли в Италии многие, ею объясняется все положительное учение Бруно.

Сличите книги Бруно с массой книг и памфлетов, вышедших из протестантского лагеря, — разница бросится в глаза. Там вы имеете дело с сектаторами: на первом плане догмат и католичество, папа и монахи; всё полно страстных пререканий, видно, что ведется борьба за существование, что она сосредоточена вокруг очень определенных интересов, общих той и другой партии, но только понимаются они различно. Здесь ничего подобного: нет нападков на внешние формы христианского вероучения и церковного устройства, вокруг которых кипели тогда такие споры: Бруно не сектатор, эти вопросы его не интересовали; но нет нигде и открытой критики христианства, тем менее — его отрицания. Бруно имел полное право утверждать это и утверждал не один раз в показаниях перед венецианской инквизицией. Он нигде не говорил и не писал против религии, он всегда ставил вопросы философским образом, стараясь подойти к ним со стороны рассудка и природной логики, и вина его разве в том, что таким путем получались иногда результаты, противоречащие учениям христианства. Таким образом, последнее становилось для него в каком-то подчинении его философии; он не ратует против него, относится к нему если не безучастно, то с бесстрашием человека, которому предстоит выбор между различными формами, равно подлежащими отмене. Он стоит бесконечно высоко над этим требованием и равнодушен к этим формам, а выбор всё же надо сделать. И он делает его не раз. Когда, читая процесс Бруно, вы замечаете, что он ищет оправдания, просит извинить невольные увлечения, как будто колеблется, — вы легко припишете это минутной слабости, тюрьме, нравственной пытке. Но задолго до тюрьмы, когда он был на свободе и в самом разгаре своей философской работы, он вдруг начинает советоваться то с тем, то с другим — каким бы образом вернуться ему снова под сень своего ордена, к католической пастве? В Тулузе он толкует об этом с одним иезуитом;

толкует в Париже. По-видимому, ничто его к тому не принуждает, и его философские убеждения, казалось, должны были отдалять его от этого шага; с другой стороны, мы не можем допустить, что в католичестве он искал только удобную маску, чтобы прикрыть не католическое содержание, — говорил же он сам так ясно, что «если во всём обращать внимание на опасности и дурные последствия — вовек не сделаешь ни одного хорошего, превосходного труда». И здесь мы находим объяснение в той наивности философской мысли, не ведающей практики, относящейся одинаково благодушно к «тайнствам пифагорейцев, к вероучению платоников, к доказательствам перипатетической школы». А тут еще неотвязные стремления мистической природы, которая так сильна была в Бруно — стремление привязаться к какой-нибудь видимой форме, к каким-нибудь осязательным отношениям. Пока собственная система еще на воздухе, и ничто в мире не отвечает тем грезам нового мироустройства, новых исторических и религиозных отношений, а человек уже устал в поисках, — ему снится домашний очаг, ровный обиход семейной жизни, где всё так гармонично устроено, приноровлено к идее целого. Ему и представлялся домашний кров, море вокруг Неаполя, вид из окон отцовского домика в Ноле, первая обедня. Его позднейшие отношения к католичеству объясняются не переходом к христианству — иначе почему бы ему не избрать протестантизм, — а воспоминаниями детства и манящими из него призраками какого-то внешнего покоя. И здесь его философия ему не перечила. Его отношения к католичеству какие-то поэтически-детские: он запрещает себе ходить к католической обедне — потому что состоит под церковным отлучением.

Таков был человек, стоявший перед Караччьоло, этим представителем той другой идеи реформы, которая создалась на севере — черствой, узкоисключительной, без тени поэзии, противопоставлявшей догмат развитию.

## II

К несчастью Бруно, его первые шаги в протестантскую область привели его не к лютеранам, а к кальвинистам — в Женеву, самое жерло кальвинизма. Правда, самого Кальвина уже двенадцать лет как не было в живых, но Бруно мог еще ощущать во всём его тайное вездеприсутствие; он мог сравнивать Женеву с Римом и найти многое такое, от чего он бежал, а многое и того худшим: христианского бога обращенным в библейского Иегову, с десницей, поднятой чаще на кару, чем на милость; вместо папской империи — диктатуру кальвинского богослова: ту же неподвижность догмата и нетерпимость свободной мысли, приведшую к господству такой же инквизиционной системы. В Женеве еретиков жгли так же искусно, как и в Риме, — и костры зажигал сам реформатор. Особенно плохо приходилось тем итальянским протестантам, которых судьба загна-

ла в Женеву, а итальянское Возрождение приучило к известной свободе философского мышления. Кальвин желал быть спокоен относительно последнего пункта и настоял на том, чтобы они подписали нарочно изготовленную формулу вероисповедания. Большинство не ужилось и бежало из Женевы — в Польшу, Швейцарию и Германию. Бруно могло прийти тем хуже, что он заявил с самого начала о своем нежелании приступить к женевскому исповеданию. Вначале ему помогали; когда в монашеской рясе ему нельзя было оставаться и он отдал ее переделать, итальянские эмигранты снабдили его шляпой, плащом и другими необходимыми вещами. Он нашел себе место корректора в одной из типографий; но так как его сближение с протестантским кружком ограничивалось изредка посещением проповедей, его скоро оставили помощью и он предпочел удалиться.

Его путь лежал через Лион в Тулузу, куда он прибыл в начале 1577 года. Здесь ему открывалось другое поприще деятельности, более блестящее, чем должность корректора, которой он до тех пор пробавлялся. Тулузский университет считался вторым во Франции; его посещали десять тысяч студентов, он славился своими профессорами. Бруно начал здесь с частных уроков и с толкования Сферы, как прежде в Ноли, но услышав, что свободна кафедра философии, и что она открыта конкурсу, поспешил запастись докторским дипломом и получил кафедру. Это было месяцев шесть спустя по его прибытии в Тулузу. Следуют затем два года публичного преподавания. В первый раз Бруно находился в родственной ему сфере: он читал в университете. На публичных диспутах вызывался защищать целый ряд вопросов, им выставленных, против всякого, кто бы явился преломить с ним копье. Такого рода диалектические турниры были обыкновенным делом в средневековых школах и давали повод спорящим выказывать разносторонность своего знания и свою логическую изворотливость. О науке, об успокоении мысли возможно точными решениями большею частью не было речи: вопросы отделялись от земли и решались на отвлеченной почве силлогистической практики. Оставался победителем не тот, кто лучше сумел выяснить сущность дела, а чей силлогизм отточен так, что к нему не было возможности подойти ни с какой стороны. Споры были бескровные, как те декоративные битвы итальянских кондотьеров, где с обеих сторон тратилось много пороха и ловкости, а в результате не оказалось ни одного убитого, и сражение оставалось нерешенным. В XVI веке эти школьные поединки еще оставались в моде; но Бруно мог находить в них удобное орудие для деятельности пропагандиста, которая всегда его отличала. Он не довольствуется уединенным подвигом мысли, он не успокоится, пока не научит ей других.

Льюис очень удачно назвал его проповедником нового крестового похода, рапсодистом философии. Он не только проповедует словами: в Тулузе начал он разрабатывать литературно и сводить в целое основные

положения своей философии; ни один из этих трудов не дошел до нас, но многое было написано и еще более наготовлено материала — иначе мы не умеем объяснить последующую плодовитость Бруно и ту поражающую быстроту, с какой выходят друг за другом его парижские издания. Тулуза была для него лишь приготовлением к Парижу. Там он как будто пытал свои силы, а сюда привлекало его, что впоследствии будет привлекать целые поколения и, ранее его, привело Данте и Брунетто Латини. В Париже была какая-то притягательная сила; в XVI веке он не утратил значения интеллектуального центра, каким был в средние века, каким остается и поныне.

Обстоятельства, среди которых Бруно увидел Париж в начале 1579 года, были грустные. Варфоломеевская ночь пронеслась, но не пронеслись вместе с нею ночные тени, и положение дел нисколько не выяснилось. Те же партии стояли друг против друга, готовые схватиться по первому вызову: партия Гизов, Генриха III и Наваррская. Долгие усобицы, среди которых критерий права являлся поочередно на стороне победителя, водворили полное бесправие и ожесточили народ; его истощали налогами, а в государстве никогда не было денег. Из этого темного царства насилия и фантастического оупения выдавалось несколько светлых имен: еще живы были Монтень и Скаррон, Боден и Лопиталь; но они как-то случайно пережили эпоху, которая их создала, они коренятся всеми живыми сторонами в цветущей поре французского Возрождения и не связаны необходимо с его настоящим. Мы страшно ошибемся, если в памятниках философской мысли и поэтических восторгов станем искать совместности с тем или другим прогрессом общества, с фактами его внешней истории. События обыкновенно опережают философский и поэтический синтез, который подводит итоги прошлому, вдохновляется сложившимися идеалами, формулирует приобретенное, прожитое. Между тем история может уйти вперед, общество повернуть в сторону и даже стать вразрез с современной ему философией и поэзией. Человечество живет быстрее, чем думает, и сводит итоги, когда жизнь уже успела опередить только что изготовленную формулу и готовит материалы для нового обобщения, которое опоздает в свою очередь. Так объясняется внутреннее противоречие эпох неустройства, социального упадка — и величавого расцвета литературы и искусства, как с другой стороны эпохи, полные движения и общественной работы, нередко сопровождаются в высшей степени бедными проявлениями в области интеллектуальной деятельности.

В этой-то среде, полной религиозного фанатизма и политической нетерпимости, пришлось действовать Бруно. Кругом него кипела борьба религиозных партий — а его философия игнорировала религию и чуждалась интересов, которые защищались тогда ценою крови. Понять его могли немногие: во всяком случае непонятны были возможные последствия, вытекавшие из его учения, потому что глаза приучены были

к обсуждению более мелких исторических отношений, а страстность партий исключала широту взгляда. Этим непониманием, и ничем другим, объясняем мы себе, каким образом мог он семь лет спустя после Варфоломеевской ночи проповедовать свою философию и никто не помешал ему. Он не касался животрепещущих вопросов, которые волновали всех и каждого, не сторонился ни католиков, ни гугенотов — и этого было достаточно.

В Париже он выступил сначала в роли свободного лектора, как позже выступит в Лондоне, Оксфорде, Виттенберге, Праге и Цюрихе. Он лучший представитель свободного профессора того времени. Он странствует из одного университета в другой и, куда ни придет, начинает читать, никого не спросив, не заискивая ничьей протекции. Там, где он встретит препятствие, как случилось в Марбурге, он удаляется в негодовании и странствует далее. То было счастливое время, когда университеты не были охраняемы, опекаемы, закрепощаемы немногими: Бруно и его сверстники свободно вступали в них, вызывали преподавателей на ученый поединок и сами читали и спорили перед глазами ученого люда всей Европы. Эти споры и это соревнование создал тех могучих гладиаторов науки, от которых ведется наше научное и литературное возрождение.

На первый раз Бруно выбрал предметом своего преподавания тридцать божественных свойств; но особенное внимание привлекли его следующие лекции, которые он посвятил мнемонике и философии Луллия. Множество слушателей сходилось к нему, привлеченные его легкою, энергическою речью и новостью идей. Законы Луллия служили ему для того, чтобы высказать свое собственное учение, указать на какое-нибудь остроумное приложение; он быстро переносился от частного к общему и из запутанного лабиринта мнемоники в область отвлечения, метафизики и астрономии. Он любил импровизацию и читал страстно, оттого увлекал других. Его речь, ясная, изящная, то блестела метафорами, остроумными сравнениями, любопытными цитатами, то являлась загроможденной непонятными отвлеченными словами: он сулил раскрытие великих истин, и обещание сопровождалось такими неопределенными, таинственными словами, которые болезненно поджигали любопытство слушателей. В его книгах мы находим как будто отголоски этого капризного изложения: он толкует просто и ясно о самых абстрактных истинах, часто о таких, о которых ему полезно было молчать, и затем принимается говорить с таинственным видом о таких вещах, о которых он мог бы кричать на площадях, и, несмотря на это, одевается в какую-то непроницаемость, останавливается на полуслове: имеющий уши да слышит, желающий уразуметь да уразумет!

Чтения Бруно обратили внимание Генриха III, и он пожелал его видеть. При свидании король обратился к нему с вопросом: приобретается ли естественным путем или дело магии — мнемоника, искусство памяти, которому он обучает? Бруно отвечал, что память — плод науки,

и в беседе, завязавшейся по этому поводу, говорил так убедительно, что король пожелал испытать на себе состоятельность рекомендуемого метода. Так завязались сношения Бруно с королем, приведшие, между прочим, к тому, что Генрих предложил ему экстраординарную профессию в Парижском университете. Еще ранее этого ему предлагали в той же Сорбонне ординарную кафедру, но он отказался по наивному соображению: ординарные профессора Сорбонны обязаны были ходить к обедне, а Бруно не мог обещать этого, потому что считал себя состоящим под отлучением церкви, своевольно покинув монастырь и сбросив рясу.

Похвалы, которые Бруно расточал Генриху III, и некоторые показания венецианских посланников представляют нам последнего Валуа в несколько ином свете, чем рисует его история. Легко представить себе, из какого источника произошли эти похвалы и чем объяснить эти показания. Последние Валуа были наполовину итальянцы, их политика внушена была политическими теориями Италии; при дворе был слышен итальянский язык и в моде тамошние обычаи, а это открывало в нижних слоях общества доступ самой широкой эксплуатации. Париж наполнялся из Италии искателями приключений всех цветов, медиками, учителями фехтования и верховой езды, купцами и откупщиками государственных доходов. В январе 1579 года одна итальянская компания вела большую игру в Лувре и выиграла у короля 3 000 экю; драматическая труппа, выписанная из Венеции, давала представления при дворе и в городе, привлекая такую многочисленную публику, какую не в состоянии были собрать четыре любимых городских проповедника. После этого понятно, что, издавая в Париже свою комедию «Il Candelajo», задуманную еще в Италии, Бруно мог рассчитывать не только на итальянскую колонию, но и на более широкий круг читателей; понятно также, почему итальянская колония должна была смотреть на Генриха III совершенно иными глазами и открывать в нем светлые стороны, исчезающие для нас в его общей нравственной характеристике. У Бруно ко всему этому присоединялись еще отношения совершенно личного характера: в Генрихе он видел не столько короля, сколько ученика, жаждавшего знания, и его подкупило доверие, которое он к нему обнаружил. Эта точка зрения исключала все другие, оттого и суд становился невозможным, и мы узнаем о Генрихе III, как о «великодушном, великом и могущественном, чья слава разносится по окраинам земли из благородного сердца Европы». Бруно так называл Францию.

Между тем в Генрихе не было ни величия, ни могущества, а о великодушии не могло быть и речи. Если вымирают расы и вырождаются семьи, то Генрих был именно таким вырожденком. Это была в корне испорченная натура, без всякого нравственного удержу, без нравственного критерия, без познания добра и зла; оттого в нем такие капризные противоречия, такие болезненные переходы. Убранный, как женщина, в кружевах и безделушках, он носил на шее двойную цепь из золота и душистой

амбры: в ушах у него были серьги из трех колец; и видом, и в поступи, и в манерах он напоминал женщину. Он чуждался воинского дела и тех занятий, которые образуют энергичных деятелей, — и, наоборот, способен был к удару из-за угла, как обнаружилось при убийстве Гиза. Его общество состояло из молодых людей, веселых и распущенных; с ними он коротал время, расточая им милости, неприличные его сану и возбуждавшие в обществе скандальные толки. Когда умер один из его любимцев, он не постыдился устроить ему похороны с царской пышностью, сам надел траур и остриг себе волосы в знак печали. Точно так же по смерти прекрасной принцессы Конде, к которой он питал нежную страсть, он облекся в траурные одежды, вышитые миниатюрными мертвыми головками. И затем новые оргии, а за оргиями и разгульными песнями — псалмы, и молитвы, и хождение в церковь: бальный костюм сменяется похоронной одеждой Братства Смерти, и сам король учреждает благочестивые процессии, из которых исключаются женщины, потому что, говорил он, где они, там нет истинного благочестия. Между тем на иной бал или маскарад ему случалось тратить до 40 и 50 тысяч франков.

От такого человека нельзя было ожидать, что он отнесется к Бруно с той стороны, с которой философ желал быть понятым. Венецианские посланники рассказывают, что король любил говорить и слушать разговоры, охотно читал книги по нравственности и истории и за обедом устраивал между присутствующими учеными прения о различных материях. Это были бескровные турниры, так же служившие царской забаве, как и настоящие; потешал, очевидно, самый процесс стравливания, и серьезного тут было настолько, насколько любитель петушиного боя серьезно взвешивает силы и остроту шпор своего бойца. Бруно незаметно для самого себя очутился именно в этой роли: Генрих видел в нем ученого оригинала, какого-то некроманта, который сулил ему раскрыть в самое короткое время глубины всякого знания. Ясно, во всяком случае, что король заинтересовался бруновской мнемоникой; а Бруно никогда не отделял ее от своей философской системы и увлечение первую объяснял себе, как признание второй. Таким образом могла у него явиться идея посвятить королю труд, которому он придавал столь важное значение в своем философском развитии, что долгое время колебался — печатать его или нет. «Кому неизвестно, августейшее величество, — говорит он, — что лучшие дары назначены лучшим людям; более ценные более достойным, а самые ценные — достойнейшим? Вот почему и этот труд, который по справедливости причисляется к величайшим, как по достоинству сюжета, так и по оригинальности изобретения и серьезности доказательств, обращается к вам, прекрасный светоч народов, блистающий доблестями души и высокими талантами, знаменитый, по праву заслуживающий признания ученых мужей. Вы великодушны, велики и мудры — примите благосклонно мой труд, окажите ему покровительство и рассмотрите со вниманием».

# ПИР НА ПЕПЛЕ



# Джордано Бруно

## ПИР НА ПЕПЛЕ<sup>1</sup>,

*описанный в пяти диалогах  
четырех собеседников с тремя соображениями  
относительно двух вопросов*

\* \* \*

*Единственному покровителю муз,  
знаменитейшему*

*МИКЕЛЮ ДИ КАСТЕЛЬНОВО<sup>2</sup>*

*синьору Ди Мовисьеро, Конкресальто и Жонвиля,  
кавалеру ордена христианнейшего короля  
и советнику его тайного совета,  
капитану 50 солдат, правителю и капитану  
Св. Дезидерия и послу у светлейшей  
королевы Англии*

## МОЕМУ НЕНАВИСТНИКУ

Если больно ты зубом укушен собачьим,  
О себе пожалей ты, пес грубый и жалкий!  
Ты напрасно грозил мне кинжалом и палкой,  
Если силой моей так теперь озадачен.

В грозной битве с неправдой ищу я удачи  
И тебя поражаю, чтоб бросить на свалку...  
Если жизнь оборвет мне небесная прялка,  
Твой навеки пребудет позор обозначен.

Не ходи обнаженным за медом пчелиным;  
Не кусай, не узнав, где гранит, где горбушка;  
Не ходи босиком, раз колючки ты сеешь;

Если муха ты, бойся тогда паутины;  
Если — мышь, то не прыгай вослед за лягушкой;  
Эй, петух, от лисы убежать ты умеешь?

Верь святому завету,  
Что твердит всему свету:  
Лишь на поле смиренья  
Не возрастут заблужденья.\*

---

\* Итальянские и латинские стихи Бруно (за исключением трех его сонетов), а также цитируемые Бруно стихи Тансилло переведены М.А. Дынником; три сонета (из вступительной части диалогов «О бесконечности, вселенной и мирах») даны в переводе В.А. Ещина.

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО,

написанное знаменитейшему и превосходнейшему  
СИНЬОРУ ДИ МОВИСЬЕРО,  
кавалеру ордена короля и советнику его тайного совета,  
капитану 50 солдат,  
главному правителю Св. Дезидерия и французскому  
послу в Англии

Вот вам, синьор, пир в моем присутствии, не нектарный пир Громовержца — ради величия; не пир потомков первозданного Адама — из-за отчаяния; не пир Артаксеркса — из-за тайны; не Лукулла — из-за богатства; не Ликаона — из-за святотатства; не Фиеста<sup>3</sup> — ради трагедии; не Тантала — из-за страдания; не Платона — ради философии; не Диогена — из-за нищеты; не пиявки — из-за пустяка; не протопопа из Повильяно<sup>4</sup> — ради шутки; не Бонифация<sup>5</sup> из «Подсвечника» — ради комедии. Нет, это пир столь же великий, сколь и малый; столь же поучительный, сколь ученический; так же кощунственный, как и религиозный; такой же веселый, как и злой; настолько же горестный, насколько радостный; по-флорентийски тощий, по-болонски жирный; столь же кинический, сколь сарданапаловский; такой же пустяковый, как и серьезный; настолько строгий, насколько шутовской; так же трагичный, как и комичный. Так что я с уверенностью полагаю, что у вас будет здесь немало случаев сделаться героическим — растерянным; учителем — учеником; верующим — неверующим; радостным — печальным; меланхолическим — веселым; легким — тяжелым; жадным — щедрым; бессильным — всемогущим; софистом с Аристотелем, философом с Пифагором; смеющимся с Демокритом, плачущим с Гераклитом. Я хочу сказать: после того как вы обоняли с перипатетиками, вкушали с пифагорейцами, пили со стойками, вы сможете еще воспринимать и с тем, кто, ощерив зубы, имеет приятную улыбку до ушей. Поэтому, разгрызая кость и извлекая оттуда мозг, вы найдете здесь кое-что, способное разложить святого Колумбина, одного из патриархов иезуатов<sup>6</sup>, умилишь любой базар, вывихнуть челюсти и прервать молчание на каком угодно кладбище.

Вы спрашиваете меня: что это за симпозион, какой это пир? Это ужин. Какой ужин? На пепле. Что значит ужин на пепле? Разве может быть перед вами поставлено такое кушанье? Разве можно сказать: я ел пепел как хлеб? Нет, это ужин после солнечного заката, в первый день великого поста, называемый нашими попами днем пепла, а иногда — днем воспоминания. В чем же состоит этот пир, этот ужин? Конечно, не в том, чтобы выразить уважение к духу и делам высокородного и благовоспитанного господина Фулка Гривелла<sup>7</sup>, в почтенной квартире которого мы собирались; не по поводу почтенных нравов культурнейших господ, которые присутствовали там в качестве зрителей и слушателей, но из-за желанья увидать, что может сделать природа, создавая две фантастические куклы, два сновидения,

две тени, две перемежающиеся четырехдневные лихорадки. На этом основании, после того как смысл истории будет просеян, а затем испробован и разжеван, будут высказаны топографические соображения, а также географические, кроме того рассудочные, а также моральные, да еще умозрения: метафизические, математические и естествоведческие.

Вы будете удивлены, как при такой краткости совершены столь великие дела. Но не смущайтесь, если увидите здесь иногда некоторые менее важные положения; порою казалось, что угрожает опасность очутиться перед строгой цензурой Катона: ведь эти Катоны слишком слепы и глупы, чтобы открыть то, что скрыто за этими Силенами<sup>8</sup>. Если здесь соединено столько различных положений, то пусть не кажется, что в одном месте наука, в другом — диалог, здесь комедия, там трагедия, здесь поэзия, там риторика; здесь хвалят, там порицают, там доказывают или обучают; здесь нечто из физики, а там из математики, здесь из морали, там из логики; и в итоге — нет ни одной отрасли науки, не представленной в отрывках. Подумайте, синьор, ведь это исторический диалог, где, в то время как докладывается о поводах, о движениях, о прохождении, о встречах, о действиях, о страстях, о речах, о рассуждениях, об ответах, о положениях и неудачных тезисах, — всё излагается для строгого суждения этих четырех собеседников, и нет ничего, что не могло бы появиться здесь кстати, с тем или иным основанием. Подумайте и о том, что здесь нет праздного слова, так как во всех частях приходится выяснять и очищать немаловажные вещи и, может быть, больше всего там, где это казалось менее нужным. Что касается находящегося на поверхности, то те люди, которые дали повод создать диалог и, может быть, сатиру и комедию, эти люди имеют возможность стать более осмотрительными и не мерить людей той палочкой, которой измеряют бархат, а души не взвешивать на металлической чашке весов. Те, которые будут зрителями или читателями и увидят, каким образом задеваются другие, научатся быть осторожными и обучатся за счет других. У тех, кто здесь уязвлен и упорствует, откроются, может быть, глаза, и, увидав свою нищету, наготу и непристойность, они, если не из любви, то, по крайней мере, от стыда смогут исправиться или прикрыться, если признают свою вину. Если вам покажется, что наш Теофил или Фрулла слишком глубоко и строго затрагивают основы некоторых положений, то примите, синьор, во внимание, что у многих животных не слишком нежная кожа и что если бы толчки были во сто раз сильнее, то и тогда они ничего не заметили бы или восприняли бы это как детское прикосновение. Я не хочу, чтобы вы считали меня заслуживающим упрека за то, что по поводу такой глупости и на таком недостойном фоне, который представляют эти доктора, я решился защищать столь важные и достойные положения; ведь я уверен, что вы понимаете различие между тем, когда берутся за дело по существу и когда — по случайному поводу. Верно, что основания должны быть пропорциональны величию, условиям и благодетству здания; но ведь

могут быть всякого рода результаты вследствие разных поводов, так что мелкие и грязные вещи бывают семенами больших и прекрасных дел; глупости и безумства обыкновенно вызывают большие мысли, суждения и открытия. Не говорю уже о том, что ясно: ошибки и преступления много раз давали повод для важнейших норм справедливости и добра.

Если вам покажется, что краски портрета не вполне соответствуют жизни и рисунок представится не вполне отвечающим действительности, то знайте, что недостаток происходит оттого, что живописец не смог справиться с портретом из-за отсутствия пространств и расстояний, какие приняты у мастеров искусств; ведь кроме того, что стол или фон были слишком близки к лицу и глазам, нельзя было отступить назад на самый маленький шаг или отодвинуться в тот или другой угол из боязни сделать прыжок, который совершил сын знаменитого защитника Трои.

Поэтому возьмите этот портрет таким, какой он есть, где даны эти двое, эти сто, эта тысяча, эти все; ведь посылается это не для того, чтобы сообщить вам известное, и не для того, чтобы добавить воды к быстрому потоку вашего суждения и ума, но, как мне известно, хотя обычно мы лучше познаем вещи в натуре, мы все же не имеем обыкновения пренебрегать портретом и представленным на нем. Кроме того, несомненно, что ваше великодушие обратит внимание скорее на чувство благодарности, с которым это предлагается, чем на дар подносящей руки.

Это адресовано вам как человеку более близкому, показавшему себя более благосклонным и более расположенным к нашему Ноланцу, и поэтому мы предполагаем, что вы наиболее достойны нашего почтения в этом климате, где торговцы без совести и веры легко делаются Крезами, а добродетельные люди, не имеющие золота, — Диогенами. Вам, который с такой щедростью принял Ноланца под свой кров, в самый высокий этаж вашего дома, куда эта страна, вместо того чтобы послать за границу тысячи свирепых гигантов и создавать там столько же Александров Великих, послала, как вы видели, более пятисот гигантов, чтобы они составили кортеж вашему Диогену<sup>9</sup>. А между тем он по милости звезд имеет только вас, приходящего к нему впустить луч солнца, если только (чтобы не сделать его беднее названного оборванца-циника) оно бросит несколько прямых или отраженных лучей через известное вам окошко.

Посвящается вам, представляющему здесь в Британии мощь столь щедрого, столь великого и столь сильного короля, который из самой великодушной груди в Европе голосом своей славы ошеломляет последние основания земли; когда он кричит в гневе, как лев в глубокой пещере, то наводит ужас и смертельный страх на мощных хищников лесов, а когда отдыхает и спокоен, то шлет такой жар щедрой и учливой любви, что воспламеняет соседний тропик, согревает ледяную Медведицу и растворяет суровость арктической пустыни, которая вращается под вечной охраной свирепой Малой Медведицы.

Будьте здоровы!

## Диалог первый

СОБЕСЕДНИКИ:

*Смит, философ Теофил, педант Пруденций<sup>10</sup>,  
Фрулла<sup>11</sup>*

Смит. Хорошо говорят по-латыни?

Теофил. Да.

Смит. Джентльмены?

Теофил. Да.

Смит. С хорошей репутацией?

Теофил. Да.

Смит. Ученые?

Теофил. Довольно компетентные.

Смит. Благовоспитанные, вежливые, культурные?

Теофил. В известной степени.

Смит. Доктора?

Теофил. Да, сударь. Да, господи, да, мать божия. Да, да. Я думаю, что они из Оксфордского университета.

Смит. Квалифицированные?

Теофил. Ну как же нет? Избранные люди, в длинных мантиях, облаченные в бархат. У одного — две блестящие золотые цепи<sup>12</sup> вокруг шеи. У другого — боже ты мой! — драгоценная рука с дюжиной колец на двух пальцах, которые ослепляют глаза и душу, если любишься ими. Похож на богатейшего ювелира.

Смит. Выказывают познания и в греческом языке?

Теофил. И к тому же еще и в пиве.

Пруденций. Отбросьте слова «и к тому же еще», так как это затасканное и устарелое выражение.

Фрулла. Помолчите, маэстро, пока никто с вами не говорит.

Смит. А какой у них вид?

Теофил. Один похож на стража великанши и Оркуса<sup>13</sup>, другой на привратника богини тщеславия.

Смит. Так что их двое?

Теофил. Да, потому что это число таинственное.

Пруденций. Как и надлежит присутствовать именно двум свидетелям.

Фрулла. Что вы понимаете под этими свидетелями?

Пруденций. Свидетели — это экзаменаторы ноланской полноценности. Но, клянусь Геркулесом! почему вы, Теофил, сказали, что число *два* таинственно?

Теофил. Потому что *два* есть первая координация, как говорит Пифагор, конечное и бесконечное, кривое и прямое, правое и левое и так далее. Два вида чисел: четное и нечетное, из которых одно — мужчина, другое — женщина. Два Эроса: высший — божественный, низший — вульгарный. Два дела в жизни: познание и действие. Две цели в них: истина и добро. Два вида движения: прямолинейное, в котором тела стремятся к сохранению, и кругообразное, в котором они сохраняются. Два существенных начала вещей: материя и форма. Два специфических различия субстанции: разреженная и плотная, простая и смешанная. Два первых противоположных и активных начала: тепло и холод. Двое первых родителей предметов природы: Солнце и Земля.

Фрулла. Сообразно этим вышеупомянутым двоицам я предлагаю другую лестницу двойственности. Животные входят в ковчег по паре, выходят оттуда также парами. Два корифея небесных знаков: Баран и Бык<sup>14</sup>. Два вида упомянуты в псалме: конь и мул. Двое животных по образу и подобию человека: обезьяна на земле и сыч на небе. Две поддельные и почитаемые флорентийские реликвии в вашем отечестве: зубы Сассетто и борода Петруччо<sup>15</sup>. Двух животных называет пророк, как имеющих больше ума, чем народ Израиля: быка, потому что он знает своего владельца, и осла, так как он умеет найти хозяйские ясли. Двое было таинственных животных, годных для верховой езды нашего искупителя: ослица и молодой осел, которые означают древнееврейское верование и новое, языческое. От них произошли два имени, обычные прозвища секретаря императора Августа: Ослицын и Осленкин. Две породы ослов: домашние и дикие. Два наиболее обычных цвета их: серый и черный. Две пирамиды, на которых должны быть записаны и посвящены вечноности имена двух этих и им подобных докторов: правое ухо Силенова коня и левое — антагониста бога садов.

Пруденций. Весьма изрядное остроумие. Перечнем сим ни в коем случае не подобает пренебрегать.

Фрулла. Я горжусь тем, мессер Пруденций, что вы одобряете мою речь, что вы благоразумнее самого благоразумия, что вы богиня благоразумия мужского рода.

Пруденций. А ведь сие не лишено изящества и юмора! Но оставим эти взаимные славословия. Сядем, ибо, по словам князя перипатетиков, когда мы спокойно сидим, то становимся мудрыми; и, таким образом, до самого солнечного заката проведем наше четверобеседование относительно результата разговора Ноланца с доктором Торкватом и доктором Нундинием.

Фрулла. Хотелось бы знать, что вы подразумеваете под этим четверобеседованием?

Пруденций. Четверобеседование, сказал я, — это беседа четырех, как диалог — беседа двух, трилог — беседа трех, и так же дальше — пенталог, гепталог и прочее, что противозаконно называется диалогами,

в смысле собеседования многих. Ведь неправдоподобно, чтобы греки, изобретатели слова *диалог*, употребляли первый его слог «ди» в смысле начала латинского выражения «диверсус», то есть в смысле «многих».

С м и т. Прошу вас, господин маэстро, оставим эти грамматические тонкости и перейдем к нашей теме.

П р у д е н ц и й. О времена! Вы, кажется мне, мало считаетесь с изящным стилем. Как мы сможем вести хорошее четверобеседование, если не знаем, что означает выражение «четверобеседование», и, что еще хуже, если мы думаем, что это есть диалог. Разве надо начинать не с определения и не с объяснения понятий, как этому учит наш Арпинат?<sup>16</sup>

Т е о ф и л. Вы, мессер Пруденций, слишком благоразумны! Прекратите, пожалуйста, эти грамматические разговоры и считайте, что это наше рассуждение будет диалогом: хотя нас четверо, но обязанность спрашивать и отвечать, рассуждать и выслушивать будут выполнять лишь двое. Однако, чтобы приступить и вести дело с начала, придите и вдохновите меня, о Музы! Не призываю вас, говорящих напыщенными и гордыми стихами на Геликоне, потому что опасюсь, что вы будете жаловаться на меня в конце, когда, после долгого и трудного путешествия, после переезда опасных морей, после того как вы увидите свирепые нравы, вам придется босыми и голыми вернуться в свое отечество, так как здесь нет рыбы для ломбардцев. Оставляю в стороне то, что вы не только иностранки для меня, но вдобавок из той расы, о которой поэт говорит:

Я не был никогда лукавым греком.

Кроме того, не могу влюбиться в то, чего не вижу. Другие, другие сковали мою душу. И этим-то говорю я: грациозные, милые, мягкие, нежные, молодые, прекрасные, деликатные, светловолосые, белолицые, краснощекие, с сочными губами, божественными глазами, эмалевой грудью и бриллиантовым сердцем, благодаря вам я столько мыслей порождаю в уме, столько страстей храню в душе, столько чувств черпаю в жизни, столько слез лью из глаз, столько вздохов испускаю из груди и столько пламени изливаю из сердца. О вы, музы Англии, говорю я: вдохновляйте, внушайте, согревайте, воспаляйте, очищайте и растворяйте меня; дайте мне сок жизни и заставьте выступить не с маленькой, изящной, урезанной и краткой эпиграммой, но с обильным и широким потоком прозы долгой, текучей, большой и стойкой, чтобы мои берега образовались не пишущим пером, а широким руслом канала. И ты, моя Мнемозина, скрытая под тридцатью печатями и заключенная в мрачной тенище теней идей, спой мне немного на ухо!<sup>17</sup>

Как-то пришли к Ноланцу от имени королевского шталмейстера два человека и сообщили, что пославший их желает иметь разговор с Ноланцем, чтобы уразуметь коперниковские и прочие парадоксы его новой философии. Ноланец на это ответил, что он не смотрит ни глазами

Коперника, ни Птолемея, но своими собственными, что касается суждения и определения. Что же касается наблюдений, то он считает себя очень обязанным этим и другим старательным математикам, прибавлявшим постепенно, с течением времени, одно объяснение к другому, давшие ему достаточные основания, благодаря которым он пришел к такому суждению, которое могло созреть только после многих нелегких занятий. Ноланец добавил, что фактически они — как бы посредники, переводящие слова с одного языка на другой; но затем другие вникают в смысл, а не они сами. Они же подобны тем простым людям, которые сообщают отсутствующему полководцу о том, в какой форме протекала битва и каков был результат ее, но сами-то они не понимают дела, причины и искусства, благодаря которым вот эти победили; понимает же тот, кто имеет опыт и лучше разбирается в военном искусстве. Так, обращаясь к фиванской Манто, которая видела, но не понимала, слепой, но божественный толкователь Тирезий<sup>18</sup> говорил:

Большая доля истины бывает  
 Сокрыта от слепого. Но куда  
 Меня зовут отечество и Феб,  
 Последую .....

Ты, дочка, поводишь отца слепого,  
 Передавай о знаменьях святых<sup>19</sup>.

Подобно этому какое суждение могли бы мы вынести, если бы не были предъявлены нам и не поставлены перед глазами разума много-различные проверенные данные относительно небесных или близких нам тел? Конечно, никакого. Однако, воздав благодарность богам, подателям блага, происходящим от первого и бесконечно всемогущего света, и восславив усердие названных великодушных умов, мы утверждаем самым ясным образом, что должны открыть глаза на то, что они наблюдали и видели, но мы не обязаны соглашаться с их понятиями, мнениями и определениями.

С м и т. Прошу вас, дайте мне возможность узнать ваше мнение о Копернике.

Т е о ф и л. У него было серьезное, разработанное, живое и зрелое дарование. Этот человек не ниже ни одного из астрономов, бывших до него, если не говорить о последовательности во времени, человек, по природенной рассудительности стоявший много выше Птолемея, Гиппарха, Евдокса и всех других, шедших по их следам. Ему мы обязаны освобождением от некоторых ложных предположений общей вульгарной философии, если не сказать, от слепоты. Однако он недалеко от нее ушел, так как, зная математику больше, чем природу, не мог настолько углубиться и проникнуть в последнюю, чтобы уничтожить корни затруднений и ложных принципов, чем совершенно разрешил бы все противодействующие трудности, избавил бы себя и других от многих бесполезных

исследований и фиксировал бы внимание на делах постоянных и определенных. При всём том кто может вполне восхвалить великий дух его, который, обращая мало внимания на глупую массу, крепко стоял против потока противоположной веры и, хотя почти не был вооружен живыми доводами, всё же, подбирая ничтожные и заржавевшие обломки, которые можно получить из рук древности, заново их обработал, соединил и настолько спаял своей более математической, чем естественно-научной речью, что превратил дело, бывшее смешным, низким и презираемым, в дело почтенное, ценимое, более вероятное, чем другое, противостоящее ему, и несомненным образом в более удобное и необходимое для теории вычисления? Хотя он и не имел достаточно средств, с помощью которых смог бы не только сопротивляться, но полностью покорить, победить и уничтожить ложь, всё же он мог найти твердую почву для себя и совершенно открыто признать следующее: в конце концов необходимо считать более вероятным, что наш шар движется по отношению ко вселенной, чем допустить, что совокупность неисчислимых тел, из которых многие признаны более великолепными и более крупными, имеет вопреки природе и разуму основой и центром своих круговых движений наш шар, хотя они самым чувствительным образом своими движениями доказывают обратное. Кто же будет настолько подлым и невежливым по отношению к труду этого человека, который, даже если забыть то, что было им сделано, был послан богами, как заря, которая должна предшествовать восходу солнца истинной античной философии, в течение веков погребенной в темных пещерах слепоты и злого, бесстыдного, завистливого невежества; кто пожелает, обращая внимание на то, чего он не мог сделать, скорее поместить его в ряды стадной массы, бегущей, ведомой и падающей вследствие послушания грубой и низкой вере, чем включить в число тех, которые могли восстать благодаря своему счастливому уму и подняться благодаря вернейшему сопровождению ока божественного понимания?

Но что скажу я о Ноланце? Может быть, мне не следовало бы хвалить его, потому что он так же мне близок, как я сам себе? Конечно, не найдется рассудительного человека, который упрекнул бы меня в этом, принимая во внимание, что оно иной раз не только пристойно, но и необходимо, как об этом удачно говорит изящный и культурный Тансилло:

Кто славы ищет, чуждый лицемерья,  
Не должен говорить про самого себя,  
Ведь наш язык не заслужил доверья,  
Где сердце увлекается, любя;  
И лучше подождать — не вижу в том потерь я, —  
Чтоб человек другой стал прославлять тебя,  
Когда одно из двух свершить способно слово:  
Упреки устранить — обрадовать другого<sup>20</sup>.

Всё же если найдется человек, столь гордый, что не захочет допустить ни по какому поводу собственной или почти собственной похвалы, то пусть он знает, что ее иной раз нельзя отделить от отчета о своих настоящих действиях. Кто упрекнет Апеллеса, который, показывая свое произведение хотевшему узнать о нем, говорил, что это творение его рук? Кто станет порицать Фидия, который на вопрос об авторе его великолепной статуи ответил, что это он? Следовательно, чтобы вы поняли данное произведение и его важность, я предлагаю в виде заключения то, что очень скоро легчайшим и самым ясным образом будет доказано.

Если получил похвалы античный Тифис за то, что первым изобрел корабль и прошел с аргонавтами море:

Храбрость безмерна того, кто первым чрез море неверное  
 На корабле столь непрочном путь далеко проложил  
 И, позади оставляя родимые земли,  
 Жизнь вероломному ветру доверил свою<sup>21</sup>;

если в наши времена возвеличен Колумб за то, что стал тем, о ком было задолго предсказано:

Настанет день в столетиях грядущих,  
 Когда расторгнет океан вещей оковы,  
 И Тифис новый мир откроет и не будет больше  
 Последним местом Фула на земле<sup>22</sup>;

то как же надо отнестись к тому, кто нашел средство подняться на небо, пробежать по сфере звезд и оставить за собой выпуклую поверхность небесного свода?

Потомки Тифиса нашли средство поколебать покой других, оскорбить местных духов предков, смешать то, что заботливая природа разделила, удвоить ради торговли недостатки, к порокам одного племени присоединить пороки другого, насильно распространять новые глупости и насаждать неслыханные сумасбродства там, где их не было, объявляя себя, наконец, как самых сильных, самыми умными; показывать новые ухищрения, приемы и способы тиранствовать и убивать друг друга. Но вследствие этих деяний придет время, когда те люди, обученные столь дурным средствам, в силу превратности вещей смогут воздать им подобными и еще худшими плодами столь пагубных изобретений.

Отцы наши видели светлый век,  
 Невинный, не ведавший козней злых,  
 И все, не касаясь чужих берегов  
 И спокойно старея на отчих полях,  
 Довольны немногим, не знали богатств,  
 Кроме тех, что рождает родная земля...

.....  
Хорошо разделенные мира концы  
Воедино связал фессалийский корабль,  
И морю удары терпеть приказал.  
И к прежним страхам прибавился страх  
Пред пучиной морской<sup>23</sup>.

Ноланец же, чтобы достигнуть результатов совершенно противоположных, освободил человеческий дух и познание, которые были заключены в теснейшей тюрьме мятущегося воздуха, откуда с трудом, как через несколько отверстий, можно было всматриваться в отдаленнейшие звезды; при этом крылья у человеческого духа были обрезаны, чтобы не мог он взлететь, раздвинуть завесу этих туч, увидеть то, что за ними действительно скрывается, и освободиться от тех химер, которые, выйдя из болот и пещер земли, подобно Меркуриям и Аполлонам, якобы спустившимся с неба, заполнили весь мир множеством обманов, бесчисленными сумасбродствами, грубостями и пороками под видом добродетелей, божеств и учений; эти химеры, одобряя и утверждая туманный мрак софистов и ослов, потушили свет, делавший божественными и героическими души наших древних отцов. Поэтому-то столь давно уже подавленный человеческий разум иногда, в моменты просветления, обращается, оплакивая свое низкое состояние, к божественной и предусмотрительной мысли с такими словами:

Кто, о мадонна, поднимется ради меня в небеса,  
Чтобы принести мне сюда мой потерянный разум?<sup>24</sup>

И вот Ноланец, пересекший воздушное пространство, проникнув в небо, пройдя меж звездами за границы мира, заставил исчезнуть фантастические стены первой, восьмой, девятой, десятой и прочих, каких бы еще ни прибавили, сфер, согласно рассказам суетных математиков и слепых вульгарных философов.

Так перед лицом здравого смысла он ключом тщательнейших исследований открыл те убежища истины, которые могут быть нами обнаружены, обнажил скрытую под покровом природу, раскрыл глаза у кротов, излечил слепых, которые не могли поднять глаза, чтобы поглядеть на свой образ в зеркалах, со всех сторон окружавших их, развязал язык у немых, не умевших и не осмеливавшихся объяснять смутные чувства, излечил хромых, которые не могли совершить то движение духа вперед, к которому не способен человек, состоящий из неблагородной и разложимой материи; это он заставил людей находиться на Солнце, Луне и других названных светилах, как если бы люди были их первоначальными обитателями; он показал, насколько схожи и не схожи, больше или хуже тела, видимые как отдаленные от того тела, на котором находимся мы

сами и с которым мы соединены; он открыл наши глаза, чтобы мы увидели это божество, эту нашу мать, которая на своем хребте кормит и питает нас, после того как произвела из своего лона, и куда снова принимает нас; он не позволяет думать, что она есть тело без души и без жизни или даже какой-то отброс среди телесных субстанций.

Таким образом, мы узнаем, что если бы мы были на Луне или на другой звезде, мы были бы в месте, не очень отличающемся от Земли, или, может быть, даже в худшем месте; мы узнаем, что могут быть другие тела, столь же хорошие и даже лучшие сами по себе и способные дать больше счастья своим обитателям.

Так мы узнаем, что есть столько планет, столько звезд, столько божеств, сколько сот тысяч их присутствует на службе — в созерцании первого, всеобщего, бесконечного и вечно действующего начала. Наш разум не скован больше кандалами фантастических восьми, девяти или десяти двигателей. Мы знаем, что есть только одно небо, одна бесконечная эфирная область, где эти великолепные светочи сохраняют свои расстояния ради удобства участия в постоянной жизни. Эти пылающие тела суть посланники, извещающие о превосходстве славы и величия божия. Так мы продвинулись к открытию бесконечного следствия бесконечной причины, истинного и живого следа бесконечной силы; мы обладаем учением, которое не заставляет нас искать божество вдали от нас, если мы имеем его вблизи нас, даже внутри, более чем мы сами внутри нас, так же как жители других миров не должны искать его в нас, имея его близ и внутри себя; ведь Луна есть не больше небо для нас, чем мы для Луны. Так можно найти в какой-то мере лучшее применение тому, о чем говорит Тансилло как бы для развлечения:

Коль не берете вы добра, что с вами рядом,  
 То как же взять вам то, что видно вдалеке?  
 Пренебрегать своим, мне кажется, не надо,  
 Как и мечтать о том, что есть в чужой руке.  
 Вы — тот, кто сам себя покинул, — тщетно взглядом  
 Подобия себе вы ищите в тоске.  
 Совсем, как вы, в ручей так падает борзая,  
 Своей поноски тень схватить в воде желая.  
 Ищите истину и позабудьте тени!  
 Ведь то, что есть сейчас, ценней грядущих благ.  
 Я знаю, жизнь дана для лучших достижений,  
 Но, чтоб беспечно жить, с улыбкой на устах,  
 Я рад тому, что есть, и новых жду мгновений,  
 С двойною радостью в сияющих очах<sup>25</sup>.

При этом один, хотя бы и один, может и должен победить, и в конце концов, даже побежденный, он восторжествует над общим невежеством. И нет сомнения, что дело должно быть решено не массой слепых

и глупых свидетелей, ругательств и пустых слов, но силою управляемого чувства, которое даст в конце необходимое заключение; ведь фактически все слепые не стоят одного зрячего и все глупые не заменят одного умного.

П р у д е н ц и й.

Если в делах и словах нет того, что было в них прежде,  
Ты довольствуйся тем, что время ныне приносит.  
И не дерзай презирать общепринятых взглядов народа,  
Ибо унижится тот, кто толпу презирать пожелает<sup>26</sup>.

Т е о ф и л. В высшей степени разумно сказано относительно приглашенных на пир, общего порядка и практики культурного обращения, но не относительно познания истины и правила для умозрения, о котором говорит тот же мудрец:

Обучайся, но у ученых: неученых должен сам научить.

Еще о том, что ты сказал относительно учения, подходящего для многих; ведь есть совет, касающийся массы: чтобы не возлагали на плечи всякого эту тяжесть, но поручали ее тем, кто сможет нести ее, как Ноланец, или, по крайней мере, двигать ее к своей цели, не натываясь на непосильные трудности, что умел делать Коперник. Кроме того те, кто владеют этой истиной, не должны сообщать ее лицам всякого сорта, если не желают, как говорится, мыть голову ослу и не хотят видеть то, что делают с бисером свиньи, и собирать такие плоды своего усердия и утомления, какие обычно производит дерзкое и глупое невежество вместе с самомнением и некультурностью — своими постоянными верными спутниками. Итак, лишь для тех неученых мы можем быть учителями и для тех слепых исцелителями, которые называются слепыми не по врожденному бессилию или не из-за отсутствия способности и дисциплинированности, но по их неосмотрительности или невнимательности, что бывает еще и по недостатку активности, а не способности. Из этих некоторые настолько криводушны и злы, что вследствие какой-то смутной зависти гордятся и гневаются на тех, кто, как им кажется, хочет их обучать; будучи, как их считают, и, что хуже, как они сами себя считают, учеными и докторами, они осмеливаются показывать знание того, чего они не знают. Вы видите здесь, как они вспыхивают и приходят в ярость.

Ф р у л л а. Как это случилось с теми двумя грубыми докторами, о которых мы говорили; один из них, не зная, как отвечать и аргументировать дальше, поднялся, желая закончить разговор принятием мер согласно пословицам Эразма, то есть кулаками, и закричал: «Как? Разве ты не поплывешь в Антициру?»<sup>27</sup> Ты хочешь быть основателем новой философии

фии, который не уступал бы своим величием ни Птолемею, ни многим другим великим философам и астрономам? Может быть, ты ищешь узлов у тростника?» Он употреблял и другие выражения, достойные того, чтобы на них ответить ударами палок, которыми погонщики дубасят по спинам ослов.

Теофил. Это пока оставим. Есть и такие доктора, которые из-за легкого безумства, боясь, что в деле познания нельзя шутить, упрямо желают оставаться в том тумане, который когда-то плохо усвоили. Но есть и другие, счастливые прирожденные таланты, у которых никакое почтенное знание не пропадает: они не рассуждают опрометчиво; обладают свободным умом, ясным взглядом и являются произведением неба, — если и не изобретателями, то всё же исследователями, искателями, судьями и свидетелями истины. У этих Ноланец пользовался, пользуется и будет пользоваться одобрением и любовью. Они — благороднейшие умы, способные слушать его и диспутировать с ним. Потому что в действительности никто не достоин противостоять ему в этих вопросах и должен или фактически удовлетвориться согласием с ним, не будучи столь способным, или же, по меньшей мере, должен подписаться под многим, более важным и главным, и согласиться, что если оно не может быть признано самым верным, то, во всяком случае, наиболее вероятным.

Пруденций. Как хотите, но я не могу отказаться от мнения древних, поелику, говорит мудрец, знание находится у древних.

Теофил. И он добавляет, что благоразумие — в длительности времени. Если бы вы понимали хорошенько то, что сказали, то увидели бы, что из вашего изречения вытекает совсем противоположное тому, что вы думаете: я хочу сказать, что мы старше и имеем более зрелый возраст, чем наши предшественники. Я имею в виду некоторые суждения, как, например, рассматриваемые нами. У Евдокса<sup>28</sup>, жившего вскоре после рождения астрономии (хотя сам он не тогда родился), не могло быть столь зрелого суждения, как у жившего через тридцать лет после смерти Александра Великого Калиппа<sup>29</sup>, который с каждым годом мог прибавлять наблюдение к наблюдению. Гиппарх<sup>30</sup> на том же основании должен был знать об этом больше, чем Калипп, потому что видел перемены, происшедшие через сто девяносто семь лет после смерти Александра. Менелай<sup>31</sup>, римский геометр, видевший разницу в движении спустя четыреста шестьдесят два года после смерти Александра, естественно, смог понять в этом больше, чем Гиппарх. Больше в этом должен был видеть Махомет Гараценский<sup>32</sup> через тысячу двести два года. Больше его видел Коперник почти в наше время, после того как протекло тысяча восемьсот сорок девять лет. Но если некоторые из живущих позже всё-таки не проникательнее живших ранее и масса живущих ныне имеет, однако, не больше понимания, то это происходит оттого, что те не жили и эти не живут в иные годы, и, что хуже, оттого, что те и другие живут мертвецами в свои собственные годы.

## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....	5
А.Н. Веселовский. Джордано Бруно. Биографический очерк.....	8

### ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖОРДАНО БРУНО

Пир на пепле.....	43
О причине, начале и едином.....	123
О бесконечности, вселенной и мирах.....	211
О безмерном и неисчислимом. <i>Выдержки из поэмы</i> .....	310
Прощальная речь.....	316
О тройном наименьшем и мере.....	322
Высказывания Джордано Бруно об обществе и человеке.....	326
Примечания к диалогам «Пир на пепле».....	332
Примечания к диалогам «О причине, начале и едином».....	336
Примечания к диалогам «О бесконечности, вселенной и мирах».....	341
Приложение	
Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно. <i>Извлечения</i> .....	346
Приговор.....	375
Примечания.....	378
Даты жизни Джордано Бруно.....	383

ИЗГНАНИЕ ТОРЖЕСТВУЮЩЕГО ЗВЕРЯ.....	386
Примечания.....	536
Приложения.....	550